

РАССКАЗЫ

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР

1

Евдокию Кузьминичну во дворе все Дуняшей звали. Даже маленькая Катя. Правда, дома Кате объяснили, что так обращаться ко взрослому, а тем более к старому человеку нельзя, и Катя придумала очень удачное, как ей казалось, сочетание — «бабушка Дуняша».

У Кати была своя бабушка — Вера, совсем непохожая на Дуняшу. Веселая и общительная, первая заводила во дворе, она могла организовать все — от субботника до детского концерта, на котором дворовые ребята читали стихи и пели. Но могла быть и строгой, требовательной. Кате нравилось, что ее бабушке Вере все подчиняются, и подчиняются охотно.

— Не завхозом нашей Вере быть, директором завода, — говорили во дворе.

А Вера действительно работала завхозом на очень большом заводе, который назывался комбинат. Бабушка часто приносила работу домой. Это были большие толстые тетради в картонных обложках. Бабушка почему-то называла тетради книгами. Кате нравилось смотреть, как бабушка чертила в этих тетрадях графы и колонки. Бабушка садилась за стол, зажигала похожую на гриб старую-престарую настольную лампу, отмеряла в книгах по линейке нужное расстояние, ставила черточку, потом, соединив две такие черточки, проводила линию. Графы получались ровными и стройными. В эти колонки и графы бабушка вписывала числа — много-много цифр. Таких больших чисел Катя в школе еще не изучала. Потом бабушка клала слева от себя деревянные счеты. Катя помнила эти счеты: когда она была совсем маленькой, дедушка разрешал ей на этих счетах кататься. Дедушки уже нет, а бабушка кататься на счетах не позволяет, она на них работает. Однажды мама Кати подарила бабушке на день рождения новинку — калькулятор. Бабушка поблагодарила, новинку оценила, но продолжала работать на счетах. Кате нравилось слушать, как стучат кругленькие деревянные костяшки и как бабушка что-то бубнит себе под нос, когда вписывает цифры в колонки. Изо всего бабушкиного бормотания Катя запомнила лишь одно: «инвентарный номер». Что это такое, Катя понять не могла, но потом увидела сама. Бабушка взяла ее — всего один раз! — к себе на работу. Там Катя увидела такие длинные числа. Они были написаны красной или белой краской на шкафах, письменных столах, стульях. А бабушка записывала цифры в большую тетрадь. Катя сразу догадалось: чем-то очень важным занята ее бабушка Вера. Очень гордилась Катя своей бабушкой и ее работой и часто шептала сама себе эти таинственные слова «инвентарный номер».

Александр Борисович Жданов — поэт, прозаик, художник, искусствовед. Член Союза российских писателей и Творческого союза художников России. Родился в Баку. Окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Публиковался в журналах «Запад России», «Балтика», «Литературный Азербайджан», «Берега», «Литературная Армения», «День и ночь» и др. Автор трех сборников стихов, пяти книг прозы, альбома живописи и графики и трех учебных пособий по истории изобразительного искусства. Живет в г. Советске Калининградской области.

А бабушка Дуняша была совсем другой. Вовсе не строгая, а добрая, ласковая, только очень тихая. Она все делала тихо: говорила тихим голосом, бесшумно передвигалась и даже посуду на стол ставила без стука. И пекла Дуняша очень вкусные булочки и печенье. А потом угощала ими ребятшек во дворе: выносила целую миску печенья и раздавала детям. Кате очень нравилось такое угощение, и бабушку Дуняшу Катя тоже любила. Одного не могла понять девочка: почему бабушка Дуняша даже в летнюю жару носит платье с длинными рукавами, плотно застегнутыми на запястьях.

А Первого мая Катя увидела... Нет, сначала Катя, как и другие ребятки, потянулась к миске с печеньем, которое вынесла Дуняша. Какое же оно вкусное, ароматное и красивое! Оно похоже на маленькую косточку, какие рисуют в мультфильмах — продолговатое с утолщениями на концах. Сначала печенье рассыпается во рту на крошки, а потом крошки тают. И выглядела бабушка Дуняша празднично и красиво. На ней было платье, какого Катя прежде не видела. Особенно понравились Кате рукава: они расширялись книзу, а по кромке шла узорчатая кайма. Катя догадалась: это к празднику Дуняша так оделась, на Первомай. Она так и сказала:

— С праздником, соседи! С праздником, ребятки! С Первомаем!

И поставила на столик в беседке миску со своим печеньем. Под крышу беседки влетела ранняя бабочка и чуть было не села Дуняше на лоб. Та подняла руку, чтобы отмахнуться, широкий рукав сполз к локтю. Кате стало интересно и страшно одновременно: на руке Дуняши, у самого локтя Катя увидела цифры. Много цифр, совсем как в инвентарных книгах бабушки Веры. Только эти цифры были блеклые, сине-зеленые. Катя, не отрываясь, смотрела, а когда бабушка Дуняша поспешно одернула и опустила руку, девочка спросила:

— Бабушка Дуняша, это у тебя инвентарный номер? Да? А почему на руке?

Дуняша посмотрела на Катю очень печально, но все же погладила ее по голове и тихо сказала:

— Ешьте, детки, печенье. Миску я потом заберу.

И ушла. Кате показалось, что Дуняша сжалась. Всего-то одно печенье взяла Катя и побежала домой к своей бабушке.

Та, несмотря на праздник, сидела за своими тетрадами и сверяла эти самые инвентарные номера.

— Бабушка, бабушка! — бросилась к ней Катя. — Я сейчас такой же номер видела у бабушки Дуняши на руке. Это инвентарный номер, да? А почему на руке? Что же, людей тоже инвези... инветир... инвентизируют? А как это? Ну почему ты молчишь, ба?!

Кате показалось, что ее бабушка Вера вздрогнула от вопроса, а потом увидела бабушкины глаза: в них был испуг. Помолчав, Вера глухо ответила:

— Этот номер ей в концлагере поставили. Иди мыть руки.

Сказала — и принялась собирать свои тетради. Катя ничего не понимала. Она училась в четвертом классе и в пионерском лагере уже отдыхала. Но там им на руках ничего не писали. Мальчишки, правда, баловались, рисовали на руках кинжалы да череп с костями, но им за это доставалось от взрослых. Значит, лагерь бабушки Дуняши был другим. «Концлагерь», — сказала бабушка Вера. Знать бы, что означает этот «конц». «Конец», что ли? По тому, как бабушка собирала свои тетради, Катя поняла, что больше никаких объяснений она не получит, но все же спросила:

— Ба, а почему она не смает эти цифры?

Это же так просто, думала Катя. Ведь те мальчишки, в лагере, когда их заставила старшая вожатая, пошли в умывальник и смыли свои кинжалы и череп.

— Почему не смает? — снова повторила Катя.

— Такое, Катюша, смыть нельзя, как бы ни старался. И забыть невозможно. В сердце у Евдокии эти цифры.

Катя мучительно пыталась понять, как цифры могут быть написаны в сердце. Яснее не становилось. Тогда она спросила:

— А кто это Евдокия?

— По-настоящему Дуняшу нашу Евдокией Кузьминичной зовут. И будет лучше, если ты станешь называть ее так. Не подружка она, несчастная, тебе.

Катя поняла, что вконец запуталась.

2

Лагерные псы лают так истошно, что кажется: их сейчас вырвет. Лай втискивается в холодный предутренний сон и дробит его. Ей почему-то снился дядя Гриша, их сосед. Дуся его побаивалась, а соседи шептались о Грише: «Тюремщик», хотя он не надзирал в тюрьме, а сам был сидельцем. Раз летом он вышел во двор в блеклой, когда-то синей майке. Майка обвисла на боках, и Дуся видела рисунки и разные слова на дяде Грише. Они были повсюду: на груди и спине уходили под майку, кривились на плечах, кистях рук и даже на пальцах. Рисунки и буквы были сине-зеленого цвета. Дуся прочитала: «КЛЕН», «ЗЛО». Она смотрела не отрываясь, пыталась понять, что значат эти такие понятные слова на руках дяди Гриши. А он перехватил детский взгляд.

— Что глазенки вылупила, шмакодявка? Гляди-гляди. Может, поймешь когда... Когда жареный петух сюда вот клюнет, — сказал Гриша и больно ткнул пальцем в то место, куда должен был клюнуть петух. Дуся поджала губы и убежала. Слезы текли по щекам, но Дуся не голосила — плакала молча. Дуся прижалась к теплому маминому животу, и мама ласково гладила ее по голове...

Лай не стихает, он заполняет все в голове. Утренний лай означает: скоро подъем. Впрочем, Евдокия научилась просыпаться за несколько минут до него. Это лучше, чем просыпаться от грубого окрика или отвратительного металлического лязга висящего куска рельса. Просыпаться, вскакивать с колотящимся сердцем и в первые секунды не понимать, что происходит. Скоро подъем... Их построят, примутся считать. У каждого свой номер. Есть номер и у Евдокии — на руке, чуть ниже локтя. Цифры сине-зеленые, как у дяди Гриши. Она и сейчас помнит, как больно было ей от иглы, которую вонзал ей под кожу человек в белом халате и в очках. Она терпела, старалась даже не морщиться от боли. Человек в очках несколько раз удивленно взглядывал на нее, и каждый раз стекла круглых очков поблескивали. Человек же хмыкал и возвращался к своему занятию. Евдокия совсем не запомнила его лица — только белый халат да круглые очки. Это позже в бараке дула она на покрасневшую и слегка вздущуюся кожу под цифрами. К номеру Евдокия привыкла да подшучивать пыталась: «Я словно шкаф или письменный стол. Инвентарный номер на мне».

Откуда знала она об инвентарных номерах? Ах, да! В пионерском лагере она как старшеклассница была вожатой. Однажды в своем отряде помогала завхозу сверять номера на мебели с теми, что записаны у него в тетради.

Это было в субботу. А в воскресенье всем отрядом стояли на плацу, задрав головы, смотрели на черный репродуктор сверху высокого столба и слушали. Сначала говорил известный московский диктор, а потом сам Молотов. Они слушали и не могли поверить.

Потом была эвакуация. Дуся впервые услышала это слово, но сразу запомнила. Начальник лагеря добился, чтобы им выделили несколько грузовиков. По дороге вожатые, как могли, подбадривали ребят, те пытались петь пионерские песни. Получалось плохо: грузовики сильно трясло.

Гул возник издалека внезапно. Он нарастал стремительно, и вскоре самолеты, казалось, закрыли крыльями все небо. Дуся отчетливо разглядела на серых крыльях кресты — черные с белой обводкой. Начальника лагеря и педагогов убило сразу, и Дусе пришлось стать старшей. Это случилось само собой. Ее подруги, другие вожатые, плакали, сутились, бессмысленно перебегали от одной группы плачущих и голосащих детей к другой. Евдокия не растерялась. На кого-то прикрикнула, кому-то приказала, построила всех, скомандовала — дети затянули отрядную песню. Пели и переставали плакать. И увидели приближавшегося завхоза. Он шел, пошатываясь, костюм его был перепачкан песком и пылью, на одном ухе висел желтый одуванчик. Завхоз поминутно тряс головой, словно хотел сбросить с уха этот цветок. Кто-то из ребят хихикнул. Евдокия строго обернулась на строй. Завхоз приближался и говорил — громко и бессвязно.

— Что с вами, Василий Никанорович? — Евдокия сняла с уха завхоза цветок, отбросила его, стала ладонью счищать с пиджака пыль.

— Ничего не слышу! — кричал завхоз, поднося обе ладони к ушам.

Из трех грузовиков два уцелели. Евдокия теперь уже вместе с завхозом и водителями распахали детей по машинам. Они смогли довести ребят до города — всех до одного. В городе их встречали родители ребят и представитель горкома комсомола. Он поблагодарил Евдокию, пожал ей руку и назвал совсем по-взрослому — товарищем. Так и сказал:

— Спасибо вам, товарищ Воронова, за решительные действия, достойные комсомолки.

В другое время Дуся гордилась бы этим, но сейчас она видела перед собой лица родителей — все они почернели и как будто состарились. И тогда Евдокия ответила тоже по-взрослому. Ответила так, как — она знала точно — отвечает в подобных случаях ее папа.

— Служу трудовому народу! — четко сказала она — и засмушалась. А представитель горкома комсомола улыбнулся, еще раз пожал ей руку и похлопал по плечу: «Все хорошо».

Дуся едва не расплакалась, хотя твердо знала: плакать нельзя. А потом вообще словно разучилась плакать. Не плакала, когда после налета на город немецкой авиации не стало ни их дома, ни мамы; не плакала, когда ее вместе с другими погрузили в вагоны и повезли на запад. Она не плакала, когда немецкий санитар в круглых очках выкалывал ей на руке номер... Только вечером в бараке она дула на саднящее место, а по щекам текли слезы.

Лают псы, не дает их лай сосредоточиться... Ведь что-то еще снилось ей... Вспомнила! Тот мальчик с темными, как вишни, глазами и кудряшками черных волос. Она даже не узнала его имени. Мальчика сразу отделили от других детей и вместе с такими же темноглазыми взрослыми увели куда-то. Позже Евдокия научилась понимать, куда уводили таких заключенных.

Лают собаки, не прекращается лай... Евдокия Кузьминична открыла глаза. За стеной тоненько и звонко тьявал соседский песик, милейшее существо — добрый, веселый и игривый. «Ведь надо подниматься», — решила Евдокия Кузьминична.

3

Катя любила рисовать, рисовала хорошо, и было у нее много карандашей, несколько наборов. Самый большой и любимый — в сорок восемь цветов. Карандаши в нем уложены в четыре ряда, а саму коробку можно ставить на столе вертикально. На коробке — картинка: богатырь на коне. Сначала Катя решила, что это Илья Муромец, но па-

па объяснил: это не богатырь, а князь Юрий Долгорукий, основатель Москвы. Князь так князь. Кате важнее были сами карандаши. Но коробку эту Катя доставала редко, только если нужно было нарисовать что-то очень важное или если попадалась книжка-раскраска со сложными рисунками. Катя очень аккуратно раскрашивала картинку, подбирала цвета, но при этом редко повторяла картинку-образец точно. Она придумывала и добавляла новые, особенные детали. В остальных случаях, включая уроки рисования, Кате хватало небольших наборов карандашей. Были у нее и фломастеры, но из всего набора Катя чаще всего использовала только три. Красным она рисовала все веселое и радостное, черным — злое и нехорошее. Когда же она пускала в дело синий фломастер, картинки почему-то выходили печальные.

Вечером она достала из шкафа коробку с Юрием Долгоруким. Раскрыла ее, установила так, чтобы коробка не опрокинулась, и задумалась. Серьезная работа ей предстояла: Кате поручили нарисовать плакат. Может быть, и не занималась бы Катя этим делом, но закрепилось за ней звание плакатиста. Произошло все перед осенними каникулами — неожиданно и случайно. В альбоме для рисования она по собственному желанию нарисовала небольшой плакатик. На самом деле она соединила в рисунке картинку с двух разных почтовых открыток, но получилось красиво: на фоне красного знамени чернел силуэт крейсера «Аврора», а его прожектор высвечивал цифры «1917». Рисунок Катя показала учительнице, та похвалила, и с тех пор пошло. Катю сразу включили в редколлегия классной газеты, и ей пришлось рисовать плакаты к Новому году, 23 Февраля, 8 Марта и Первомаю. Сейчас Катя рисовала плакат ко Дню Победы, точнее, к классному часу, посвященному празднику. Учительница дала ей для образца несколько открыток и попросила:

— Ты уж, Катюша, постарайся. Это будет особенный классный час. Интересный гость к нам приедет.

И Катя старалась. Она нарисовала и цветы, и салют, и написала крупно: «9 МАЯ». А потом неожиданно для себя пририсовала в нижнем углу игрушку — куколку. Получалось, будто и салют, и дата заслоняют, защищают эту игрушку. Кате очень понравилось, и она решила не стирать куклу, хотя догадывалась, что взрослым она может не понравиться.

На следующий день она вручила свернутый в трубку плакатик учительнице. Видимо, времени оставалось немного, и учительница, не рассматривая готовую работу, повесила ее на классную доску. И только тогда заметила куколку.

— А это что еще такое? — недовольно прошептала она.

— Не знаю... Само собой получилось, — смущаясь, ответила Катя.

— Ну, Трофимова... Ладно, после поговорим, снимать некогда. Может, гость и не заметит.

В это время гость уже входил в класс. Поначалу Катя опешила и немного расстроилась. Этот гость не был похож на тех, которые приходили на классные часы прежде. У тех были ордена и медали, многие приходили в военной форме. Они рассказывали, как трудно было воевать, как нелегко далась победа, но мы все же победили. У нынешнего гостя наград не было, да и выглядел он моложе тех, воевавших. А потом гость удивил еще больше: он сразу заявил, что не воевал.

— На фронте я не был. Я не мог воевать, потому что был подростком.

Гость помолчал, а потом добавил печально:

— Но я видел войну с другой стороны.

Тут он обернулся к доске и увидел Катин плакат. Он подошел к нему, долго рассматривал, а потом сказал:

— Какой интересный плакат... Особенно эта куколка... Знаете, у нас ведь было что-то похожее. Я сейчас расскажу.

Катя не помнила, как все произошло, но она перестала различать слова. Она слышала только голос, а слова отодвинулись, смешались с голосом и повисли стеной. Катя не слышала — она видела, словно сама находилась в полутемном и холодном бараке.

Их вталкивают в барак под вечер — новую группу заключенных. Много детей. Не переставая, плачет маленькая, не старше трех лет, девочка — рыжая и веснушчатая. Она поминутно подносит к матери руку, показывая, как ей больно и неприятно. Ниже локтя у девочки синеют цифры — ее теперешний номер. Мать пытается успокоить девочку, но та не может успокоиться. В это время в глубине барака другая девочка, по всей видимости старшеклассница, сосредоточенно скручивает что-то из обрывков тряпок. Закончив, она подходит к девочке. Теперь ясно: в руке у нее игрушка, скрученная из тряпок куколка. Она протягивает игрушку девочке и говорит:

— Не плачь. Это будет твоя ляля. Заботься о ней.

Девочка замолкает, прижимает куклу к груди и больше не выпускает ее из рук. Ест и спит со своей новой игрушкой.

Одним пасмурным утром снова истошно лают собаки. В барак входят вооруженные люди. Подгоняя стволами и прикладами автоматов, они выталкивают девочку, ее мать и некоторых других заключенных наружу. Кукла падает из рук девочки. Та хочет поднять игрушку, нагибается к ней, но солдат грубо отталкивает девочку, наступает на куклу сапогом, а потом носком сапога отпихивает. Кукла летит куда-то под нары. Выведенных во двор наскоро строят в колонну и уводят. Колонна движется в сторону зловещего здания. Его высокие трубы уходят в небо и дымят, дымят, дымят...

— А куклу потом нашли? — вопрос одноклассницы возвращает Катю в действительность.

— Нашли, — грустно ответил гость. — Нашли под нарами. Ее потом забрала та девочка, которая и скрутила куклу.

Его еще о многом спрашивали, он отвечал. А Катя тоже думала про куклу, она вспомнила, что похожую видела у бабушки Дуняши, но тогда кукла показалась ей грязной и некрасивой, и она не решилась спросить о ней. А еще Катя хорошо запомнила слова гостя: «Нас всех тогда пронумеровали, поставили, как на мебели, инвентарные номера».

4

Дома Катя сразу бросилась к бабушке и со слезами просила ее оставить работу.

— Бабушка! Бабушка! Не пиши больше эти инвентарные номера. Это плохая работа! Брось ее! Брось!

Успокоили Катю с трудом, выяснили, что именно взволновало ее. И тогда Вера Семеновна увела ее в свою комнату. Там они долго беседовали. От бабушки Катя вышла молчаливой.

А с улицы доносились странные звуки, словно катали по асфальту жестяную банку. Во двор вышли одновременно Вера Семеновна и другие соседки. Следом за бабушкой вышла и Катя, но остановилась на пороге. Во дворе мальчишки играли в футбол: оживленно пинали алюминиевую миску. Миска немного сплюсчилась, на ней появились вмятины.

— Это же бабушки Дуняши миска, — закричала Катя и бросилась к мальчишкам, стараясь поднять миску.

— А и верно: на Кузьминичнину миска похожа, — подхватила Вера Семеновна. — Это что же вы, огольцы, делаете? Нешто у вас мяча нет?

— Так эта миска три дня уже валяется в беседке, — проямлил один из мальчишек. — Никому не нужна.

— Верно-верно, — заговорили соседки, — на Первомай она детишкам печенье выносила, обещала после забрать миску, да, видать, не показалась больше во дворе.

— Ох, не было бы беды. Вот и мой Тобик все выть принимался, чует, может, через стенку-то.

В квартиру Дуняши Катю не пустили, отослали домой. Но из окна она видела, как приехали милицейская машина и «скорая помощь», как потом из подъезда два санитара вынесли носилки, а на носилках лежал кто-то, накрытый простыней с головой...

В день похорон Катю не с кем было оставить дома, и бабушка взяла ее на кладбище. Когда гроб уже опустили, засыпали землей, соорудив холмик, а на холмике установили четырехгранный пирамидальный столбик, взрослые принялись разливать по маленьким стаканчикам прозрачную жидкость из бутылки, разбирать приготовленные заранее бутерброды. А Катя смотрела на столбик, на фанерную табличку. «Воронова Евдокия Кузьминична», — прочитала Катя, под ней цифры через тире. Катя догадалась: это годы жизни, такие надписи были и на других столбиках и памятниках, а чуть ниже стоял трехзначный номер. Катя не знала, что это номер могилы. Она оглянулась на взрослых, убедилась, что они не смотрят на нее, подошла вплотную к столбику. Она достала из кармана синий фломастер, встала на цыпочки и зачеркнула трехзначный номер. А ниже написала другой — тот самый, что увидела недавно на руке бабушки Дуняши. И никогда не объяснила бы, как запомнила она такое количество цифр.

КРЕСТ НА ЛАДОНИ

Марине Т.

I

Третий день и третью ночь не стихает шторм, что очень не нравится старому Тынису Парийыге. Он недовольно ворчит себе под нос и ходит по дому. Садится на крепкий табурет, потом встает и снова ходит, вновь садится, ходит снова. Его жена Мэрю привыкла к такому проявлению недовольства мужа и на передвижения Тыниса не реагирует. Она вяжет и тихо (больше для себя) напевает старинную песню. Напевает так тихо, что слов не разобрать. Напевает и прислушивается к ветру за окном. А ветер бросает пригоршнями дождь — в стены, в окно, на крышу бросает. И кажется Мэрю, что кто-то рассыпает зерна или мелкую гальку по крыше. Кто бы мог это делать? Мэрю усмехается: ее бабка — уже давно не ходит она по земле — сказала бы маленькой Мэрю, что это Кыуэ грозит непослушным детям. Сейчас Мэрю не верит. Сейчас она сама стара для того, чтобы так же, как прежде, споро вести хозяйство, только вот сказки своей бабки рассказывать некому. Живут от с Тынисом одни.

Мэрю на минуту оставляет вязание, обрывает, как нить, песню и смотрит на мужа. Он ведь тоже стар, ее Тынис Парийыге. А ведь помнит Мэрю, каким был молодым. Смелым и решительным. Фактически украл ее, по эстонским понятиям южанку, и увез. На север увез, откуда предки его на остров переселились. На севере, а не на острове свадьбу сыграли. Потому что север — родина. Постарел теперь Тынис. Вот ворчит, недоволен он штормом. Наверное, думает, что уходит напрасну время, и не получится теперь конопатить и смолить лодку. Он думает так, хотя давно уже сам не конопатит и не смолит. И в море не выходит бывший знатный рыбак совхоза Тынис Парийыге. Нет больше совхоза. На кирпич разобрали цеха, а промысел поделили между собой ушлые дельцы. Не выходит в море Тынис. Шутка ли — недавно девяносто исполнилось. Приезжали к нему на остров дети: два сына и дочь, внуки

приезжали и любимая правнучка Кая. Только и была тогда возможность всем вместе собраться. В другое время собраться трудно: разбрелись все по миру. Воеет ветер, гудит в печной трубе, швыряет пригоршнями дождь в окна и на крышу.

Тынис расценивает долгий взгляд жены и ее молчание по-своему. Он опирается ладонями о колени и тяжело поднимается. Тынис подходит к висящей на вбитом прямо в стену гвозде куртке, достает из кармана трубку и вопросительно смотрит на жену. Давно уже не курит Тынис в доме. Много лет назад Мэрю ловко, с хитростью молодой жены, сделала так, что каждый раз, когда хотел Тынис подымить трубочкой, он должен был выходить из дома. В прежние годы Мэрю частенько вспоминала об этом, вспоминая, улыбалась, а то и посмеивалась над мужем. Тынис хмурил брови, отмахивался, но ничто не могло скрыть его добрую улыбку, ибо любил он Мэрю. И сейчас любит Мэрю старый Тынис. Он держит в руках трубку, но выходить из дома в шторм не хочется. Он топчется у двери и вопросительно смотрит на жену. Та согласно кивает. Тогда Тынис подходит к дубовому шкафу, открывает дверцу самой узкой ее створки и достает из глубины коробочку — картонную коробочку желтого цвета с надписью красно-золотистыми буквами. Русскими буквами. Тынис давно уже не сознается ни другим, ни себе, что больше других ему нравится этот русский табак. В прежние годы он сам ездил в Ленинград за ним, да и в Таллине его купить можно было. А то отправлялся к русскому товарищу в Выру. Тот знал о пристрастиях Тыниса и просил друзей из России, чтобы те при случае привозили табак для его товарища. Сейчас Тынис ничего не знает о друге из Выры. Слышал только, что уехал друг в Россию. Выяснить и уточнить Тынис не стал: уехал — значит уехал. Многие сейчас уезжают. Говорят, что тяжело стало им жить здесь. Может, и тяжело. Тынис не думал. Вот табак русский хорош — это Тынис знает. Недавно привез ему сын пачку невиданного прежде табака. По-английски было написано на пачке.

— Вот, отец, — сказал он, — попробуй этот. Наверное, лучше будет.

Тынис тогда молча кивнул. «Может, и лучше, но я к другому привык» — так можно было истолковать его молчаливый ответ.

Тынис держит в руках желтую коробочку. Табака в ней раза на два — не больше. Он барабанит пальцами по крышке с русскими буквами и вдруг говорит:

— Когда сын Юхан приедет, надо, чтобы в управу сходил.

— Зачем? — недоумевает жена.

Тынис и сам толком до конца не понимает. Знает, что по телевизору показали одну певицу. Она сделала анализ крови, чтобы доказать, что у нее русских корней нет. А потом заявила об этом на всю Эстонию. А потом Тынис слышал от других, что один чиновник в управе на их острове решил: все жители должны сделать письменное заявление, что у них в России нет родственников.

— Надо, чтобы Юхан сходил, — повторяет Тынис.

— Зачем? — снова вздыхает Мэрю. — Он в Таллине живет.

— Он родился здесь, — ставит точку в разговоре Тынис.

Ветер воеет громче, бросает в окно и на крышу самую крупную пригоршню дождя — и свет в доме гаснет.

Тынис зажигает свечу, подходит с ней к щитку электросчетчика. Так и есть: автоматические предохранители не выбиты, остались в рабочем положении. Стало быть, авария где-то на линии, но сегодня — понимает Тынис — никто возиться с ремонтом не станет. Бригада появится лишь завтра. Значит, сидеть им в темноте. Тынис достает из шкафа вторую свечу и зажигает и ее. Одну свечу Тынис ставит на стол, другую держит в руке, подходит с ней к печи и ставит свечу на подставку. Тут он обнаруживает, что табак оставил на столе. Тынис возвращается, раскрывает коробочку, в который раз убеждается, что табака мало, и начинает долго и основательно набивать труб-

ку. Набив, он в последний раз прижимает табак — Тынис всегда делает это одним пальцем, мизинцем — и подходит к печи. Здесь он опускается на стоящий рядом чурбан. Теперь можно и закурить.

Свеча горит рядом, но Тынис озирается, пока не отыскивает на полу длинную тонкую щепку. Он открывает чугунную дверцу печи, засовывает внутрь щепку и ждет, пока та загорится. Этот огонь он бережно подносит к трубке и раскуривает ее. Раскурив, он забрасывает в печь ставшую ненужной щепку. Свеча горит рядом. Мэрю следит за движениями мужа, но не спрашивает, почему он не воспользовался свечой. Ответ ей известен:

— От свечи прикуривать нельзя. Пламя свечи — душа погибшего моряка или рыбака. Прикуришь от свечи — увеличишь количество таких душ: в море в этот момент кто-то может пойти ко дну.

Тынис с наслаждением затягивается и выпускает дым в печь, туда, где горит огонь. Мэрю задумчиво смотрит на мужа. Она думает о том, что ее Тынис Парийыге до старости остался франтом. У Тыниса седые, но еще густые волосы; он зачесывает их назад. Но главное — борода. У него очень аккуратная борода, у ее Тыниса. Раз в неделю он сам подстригает ее маленькими ножницами, сам тщательно выбривает верхнюю губу и часть щек опасной бритвой. Как только исхитряется он делать это такой неудобной железкой! Намылывает щеки и проводит бритвой сверху вниз, не забывая вовремя повернуть руку, чтобы получилась окантовка. Борода у Тыниса, как у капитанов из старых фильмов. Он и хотел быть капитаном, но не смог. Еще в детстве упал с крыши сарая. С той поры одна нога короче другой. Совсем чуть-чуть, но достаточно для того, чтобы медкомиссия его забракела. Вот и не стал Тынис капитаном, а работал в рыболовецком совхозе. До сих пор Тынис старательно скрывает свое увечье и хромота ел заметно. Мэрю вдруг очень хочется подзадорить мужа. Она спрашивает почти серьезно:

— Что ты делаешь, старый бездельник? Почему ты пускаешь дым в печь, на огонь? Своим табаком ты дымишь в нос самому Лауритсу. Или ты хочешь обидеть его?

— Неправильно рассуждаешь, женщина, — Тынис невозмутим и только старательно скрывает свою улыбку. — Я не дымлю в Лауритса, а угощаю его трубкой. А ты не поминай попусту имя хранителя огня.

Теперь Мэрю улыбается открыто. Она поднимается, разминает затекшие от вязания пальцы и говорит:

— Однако ужинать пора. Я соберу на стол.

II

Утром ветер уже не воеет, не швыряет дождевые брызги. Но море по-прежнему спокойно. Оно шумит, волнуется, словно бранится уже безо всякой причины. Тынису кажется, что море ведет себя, как скандальная баба. Сойдутся такие бабы, разругаются, потом разбредутся по домам, но каждая продолжает ворчать на ходу, и вдруг какая-то, обернувшись, посылает остальным невысказанные ругательства. И даже дома долго не может успокоиться. Не любит Парийыге, когда море такое.

Тынис стоит у дома и смотрит в небо. Скоро погода улучшится, понимает он и тогда идет к своей перевернутой лодке. Он садится на лодку, раскуривает трубку и смотрит. Теперь уже вдаль. Не туда смотрит старый Тынис, где море уходит за горизонт — он смотрит на скалы бухты. Огромная скала похожа на зубра. Так казалось Тынису, когда он был ребенком, так кажется ему сейчас.

Ни в детстве, ни позже не видел Тынис живых зубров. В краю, где жил Тынис, их давным-давно перебили, а туда, где они есть, не ездил Тынис. Не видел он зубров, но

помнил, как бабка пела ему про храброго воина Алева, друга Калева. Тот Алев смог завалить огромного зубра. Отряд воинов не мог сладить с ним, а Алев одолел в одиночку. Ничего не помнит Тынис из многих песен бабки. Помнит лишь, что зубр был огромен и что Алев вышел с ним один на один.

— Кто это — зубр? — спросил он у бабки.

— Огромный лесной бык, — ответила та.

— Какой он?

Бабка не ответила, только сначала потрепала его волосы, а затем погладила по голове. Это означало: «Не задавай лишних вопросов. Лучше спи». Ночью ему снились зубры. Его зубры. Такие, какими он их представил. В школе набрался смелости и пошел к учителю и спросил напрямик:

— Как выглядит зубр?

Учитель, не сказав ни слова, достал из шкафа огромную книгу. Такую большую, что держал ее обеими руками. Учитель раскрыл книгу на нужной странице и ткнул пальцем:

— Зубр.

Этот зубр не был похож на тех, что снились Тынису. Но мальчик не огорчился. Главное, теперь он знал, как выглядят зубры. Он шел домой пешком и вдруг увидел утес. Конечно, он видел его и прежде, но сейчас едва не закричал: «Это зубр!» И тогда он понял все: Алев убил самого сильного, самого важного, может, самого главного в лесу зубра. А его друг, возможно то была подруга, от тоски стал камнем, утесом. Так решил мальчик Тынис.

Теперь вот он, старик, сидит на перевернутой лодке и улыбается воспоминаниям. В последнее время он редко улыбается, старый Тынис Парийыге, словно смущается. Но сейчас он может позволить себе слабую улыбку, потому что знает: его никто не видит. А еще никто не подозревает, что в душе старого рыбака проснулась детская мечта — доплыть до зубра на лодке. Он сидит на перевернутой лодке и снова и снова поглядывает на небо. Да, погода будет хорошая. Значит, сын и внук смогут приехать. Тынис похлопывает по боку лодки — та гулко отзывается. Пора, пора смолить. Тынис не сознает себе, что лодка — только повод. За другим ждет Тынис гостей. Ждет, чтобы говорить о свадьбе. Любимая его правнучка Кая замуж выходит.

Кая — дочь того самого внука Артура, с которым он, Тынис, намерен заняться лодкой. С ним, а еще с его отцом Юханом, старшим своим сыном. Он ждет Артура и Юхана, чтобы убедить их сыграть свадьбу на острове, в доме, где родились и выросли сам Юхан и другие дети: второй сын Эдуард и дочь Ани. Родились, жили в этом доме, пока не повзрослели и не разъехались кто куда — в Канаду, в Австралию. Только Юхан остался в Таллине со своей семьей. Соберутся ли эти иностранцы за свадебным столом? Юхан зовет отца переехать в Таллин, но не хочет Тынис переправляться через пролив, не хочет жить в столице. Не хочет и чтобы свадьба в Таллине была. Что там Тынису и Мэрю? Ну, сядут чинно в ресторане в неудобных костюмах. Музыка будет играть громко, а Тынис и Мэрю почувствуют себя неловко среди молодежи. Они — Тынис и Мэрю — хотят, чтобы свадьбу справляли на острове, где была бы своя, эстонская еда, пели бы эстонские песни. Не раз заводил Тынис об этом разговор с сыном. Юхан отмалчивался.

Докурив трубку, Тынис каблуком выкапывает ямку, вытряхивает в нее пепел из трубки, потом заравнивает ямку и притоптывает. Не любит старый Парийыге, когда по острову рассыпают мусор. Тынис похлопывает себя по боковому карману, убеждается, что его старые, но надежные часы на месте, достает их, открывает крышку, смотрит на циферблат. Он прячет часы в карман и степенно идет к дому.

Дома Тынис застаёт Мэрию у плиты. Он видит, как жена слоями укладывает в котел нарезанную кусочками свинину, квашеную капусту с луком, немного приправляет сахаром, пересыпает все ячменной крупой.

— Что это ты, старуха, решила побаловать меня? — говорит он, игриво похлопывая жену по спине.

Та распрямляется, вытирает руки о передник и говорит серьезно:

— Не только для тебя, старый. Дети приедут. Для них хлопочу.

— С чего ты решила? — спрашивает Тынис, но кажется, он не удивлен. — Может, Юхан звонил? Или Артур?

— Никто не звонил. Сон видела. — Мэрию спокойна и серьезна. — Приедут дети.

Поджав губы, она поворачивается к печи и вновь принимается за стряпню. Тынис не возражает. Он знает: когда Мэрию говорит о снах, ей лучше не перечить и ни в коем случае не пытаться пошутить или осмеять. Вот он и не посмеивается над женой, как случилось в молодости, а говорит примирительно:

— Картошки не забудь наварить.

В ответ Мэрию только машет рукой. Тынис топчется на месте, потом отходит к окну и садится у него.

Автомобиль Тынис замечает не сразу. И рокот мотора тоже слышит не первым. Мэрию опережает его. Заслышав урчание, она подходит к окну, видит приближающуюся машину, толкает мужа в плечо и поспешно выходит из дома. Тынис следует за ней степенно и появляется на пороге в тот момент, когда автомобиль останавливается и сидящий за рулем Артур выключает двигатель. Обе дверцы открываются одновременно, но Юхан высовывает ногу в модном ботинке чуть раньше сына, потом неуклюже вываливается из салона. «Потолстел», — недовольно ворчит себе под нос Тынис, видя, как сын поправляет брючный ремень под нависшим животом. «Рано стареет. Растолстел. Ну и что с того, что по старым меркам мог бы и пенсию получать! Разве я таким был в его возрасте?! Никудышный помощник», — продолжает он ворчать. Следом за отцом выходит из машины Артур. Он тоже полноват, но высок и широк в плечах. Тынис с одобрением смотрит на его сильные руки.

Мэрию обнимает и целует поочередно внука и сына. Тынис не сдвигается с места, он стоит в дверях и ждет, когда дети сами подойдут к нему. Вместо объятий и поцелуев степенно пожимает руку каждому и становится в дверном проеме спиной к косяку. Чтобы попасть в дом, Юхану и Артуру приходится протискиваться боком. Юхан старательно втягивает живот, но Тынис хлопает по нему и говорит коротко:

— Толстяк.

Юхан пожимает плечами и одновременно разводит руками, мол, что тут поделаешь. А Мэрию уже подталкивает сына и внука к столу, потом тянет за руку мужа.

— Хватит уж! После наговоритесь, за столом есть надо, — в голосе Мэрию звучат те властные нотки, которые проступают редко, но за которые, а еще за придиричивую ее любовь к порядку Тынис называет жену боцманом.

За обедом Юхан спохватывается, бросается к своему толстому портфелю, извлекает из него бутылку, ставит на стол. Тынис степенно берет бутылку со стола, подносит к глазам, затем отводит руку, чтобы лучше разглядеть этикетку, смотрит через бутылку на свет и только после этого разливает по стопкам. Сразу предупреждает:

— Только не напиваться! Нам работать надо.

После обеда все трое выходят из дома и садятся на лавку. Закуривают.

— Покурим — и лодкой заняться надо, — говорит Тынис.

Артур, забывший о дедовой строгости и непреклонности, спрашивает:

— Зачем заниматься этой лодкой? Лежит без дела.

Выпуская дым и не оборачиваясь на внука, Тынис говорит:

— Лодка должна быть законопачена и просмолена.

— Да зачем же? — не унимается Артур. — Когда ты в последний раз в море выходил, дед? Ты давно уже и весла в руках не держал.

И пытаюсь пошутить, добавляет:

— Наверное, забыл уже, как парус ставить.

Шутка Тынису не нравится, он непреклонен:

— Лодка должна быть в порядке.

Впрочем, когда он подходит к подставившей свои бока ветру и солнцу лодке, выясняется, что Тынис многое преувеличивал. Оказывается, что сделать нужно немного, и они втроем управились за несколько часов.

Они садятся на песок рядом с обновленной лодкой, Юхан тянется за лежащим на песке рюкзаком, достает из него три бутылки пива. Одну оставляет себе, другие отдает отцу и сыну. Сидят молча, отпивают из горлышка. Наконец Тынис заводит разговор о свадьбе. Похоже, что старик надоел сыну и внуку и островная свадьба их не вдохновляет. Артур в который раз приводит деду аргументы: хороший ресторан, современная музыка и танцы — молодежи что еще надо? — наконец, жених в красивом современном костюме, невеста в белом платье и фате. Он ждет от деда привычных доводов, мол, в ресторане придется много потратить денег, а домой то, что осталось, не забережь, но Тынис реагирует иначе: он вынимает трубку изо рта и говорит с горечью:

— Зачем белая фата, если Кая со своим женихом давно спят вместе?!

Тынис даже сплевывает еле заметно. Не по душе ему современные нравы. Видел Тынис кино, где такое показали, о чем и говорить совестно — срам один. А молодые ничего — даже посмеивались. Последний аргумент на удивление действует, и Артур сдаётся:

— Ладно, — говорит он, — надо будет у Каи спросить. Если молодые согласны, так что уж там...

Тынис понимает, что сейчас дожимать не нужно, не нужно пытаться вбить последний колышек. Пусть дети переварят эту мысль, сроднятся с нею, пока не станут считать ее своей. И меняет тему разговора.

Он снова заводит речь о странной регистрации в управе, убеждает детей, особенно Юхана, пойти и заявить, что нет у них русских родственников и вообще близких людей в России нет. Юхан недоумевает:

— Зачем это нужно, отец? Кто придумал? Я вообще к вашей управе отношения не имею. Сколько уже лет в Таллине живу!

— Живешь в Таллине, но родился-то здесь. Что если все учетные книги сохранились?

— Не понимаю, чего ты опасешься, отец? Я смотрю телевизор, читаю газеты — никто в Таллине о таком и не слышал. Ничего такого у нас нет.

— Сейчас нет — будет потом.

— Это придумал кто-то из ваших местных прыщей на заднице. Выслуживается, наверное. Один вред от таких. Сколько уже мой бизнес страдал...

— Не знаю, кто придумал, но дыма без огня не бывает. Это я знаю точно. И с чего это ты вдруг за русских заступаешься?

Юхан явно раздосадован.

— Не заступаюсь я. Мне дела нет до русских, но в глупости участвовать не хочу. Да и лень, — отвечает он.

— Поговори еще... — Тынис тоже не хочет сдаваться.

К дому все трое идут в молчании. За стол садятся тоже в тишине. Мэрю с тревогой переводит взгляд с мужа на сына и внука, но спросить не решается. Чувствуя гне-

тушую напряженность, Тынис нарушает свои правила и заводит за столом разговор. Пустячный разговор, ни о чем, но напряженность исчезает. А после ужина Юхан, словно возвращаясь к дневному разговору, неожиданно заявляет:

— Эти русские странные и смешные.

Восприняв молчание отца и сына как заинтересованность, он продолжает:

— Они всех нас, балтийцев — эстонцев, литовцев, латышей, — принимают за каких-то особенных. Будто все мы бары, что ли... Помните Хуберта Саара? Трактористом в совхозе работал. В армии я с ним в одну роту попал. И вот сам слышал, как один русский говорил своему другу: «Ты знаешь Хуберта Саара? Я думал, он эстонец, а он тракторист». Смех один.

Тынис сдержанно улыбается. Он понимает, что дети все же пойдут в управу.

Однако на следующий день многие планы меняются. Ближе к обеду, когда Юхан и Артур готовятся уехать, заскочив по дороге в эту самую управу, неожиданно объявляется Кая. Она приехала одна, без жениха. Сначала перебралась на пароме, а затем на попутной машине. Артур сразу вываливает на нее: прадед хочет, чтобы свадьба была здесь, на острове. И про одежду, и про фату тоже говорит. Неожиданно Кая соглашается.

— Вот и отлично, — говорит она. — Значит, сегодня мы никуда не уезжаем. Мне надо обсудить с бабушкой Мэрюю свой наряд. Как я оденусь? По-южному, как бабушка, по-северному, как ты, дед Тынис? Или по-островному? Георг, думаю, возражать не станет.

С лукавой улыбкой Кая посматривает на отца и деда Юхана. Те недоуменно переглядываются: девочка-то их, оказывается, лучше старших осведомлена о традициях. А Тынис деловито спрашивает:

— Георг — это жених?

— Да. Георг Пярнакиви, — отвечает Кая. — А дружкой его будет русский парень Сергей. Но вы не переживайте. Он хорошо говорит по-эстонски.

Кая щебечет без умолку, говорит о друзьях, о тех, кого хотела бы видеть здесь на свадьбе. Она не замечает, как лицо прадеда снова становится непроницаемым.

— Буду спать в сарае, — говорит он, выходя из дома. — Душно здесь. Да и девочки наши, пожалуй, до утра толковать будут.

Наутро обнаруживают, что Тыниса нигде нет. Кая первая предлагает позвонить ему. Юхан набирает номер — старый кнопочный телефон Тыниса верещит из сарая. Он лежит там на полочке с инструментами.

— Надо к лодке сходить. Может, он там, — резонно предлагает Артур.

Но на месте нет ни лодки, ни Тыниса.

— Это он в море вышел, старый безумец! — взмахивает руками Мэрюю. Он пришла вместе с другими. — Сколько уж лет не ходил — и на тебе!

— Что же делать теперь? — спрашивает Артур. — Вряд ли найдутся сейчас спасатели или свободный катер. Да и не знаем мы, в какую он сторону отправился.

Кая спокойнее остальных.

— Ничего делать не нужно, — вставляет она. — Нужно сидеть и ждать. Суетиться не нужно. Дедушка Тынис не любит этого. Все будет хорошо.

Тынис появляется после обеда. Он степенно идет к дому. Наверное, только одна Кая замечает, как он припадает на одну ногу и как тяжело несет в отставленной руке плетеную корзину. Войдя в дом, Тынис со стуком ставит корзину на лавку и опускается рядом. Долго и старательно восстанавливает дыхание. В корзине время от времени трепыхаются несколько крупных рыб — камбала и треска. Отдышавшись, Тынис говорит как ни в чем не бывало:

— Вот. Возьмите с собой. Это вам не магазинная. Дома поделите.

Артур нетерпеливо поглядывает на часы и говорит:

— Если мы выедем сейчас, то успеем на вечерний паром. Давно нам пора. Дел много осталось.

— Куда вы на ночь глядя? — Мэрю растерянно оглядывает всех. — И думать нечего. Оставайтесь до утра.

— Не мешай им, женщина, — строго говорит Тынис. — Им лучше знать. Поезжайте, дети. И к свадьбе готовьтесь.

Вместе с Мэрю он провожает детей до машины. Выкроив минутку, Кая подходит к прадеду, поднимается на цыпочки и шепчет прямо в ухо:

— Дед, только правду скажи: ты на лодке к Зубру ходил? Я буду молчать.

Тынис улыбается и гладит правнучку по голове своей шершавой ладонью.

Ночью он долго не может уснуть. Тынис хочет, чтобы ему приснились зубры.

III

Чем ближе день свадьбы, тем задумчивее и озабоченнее выглядит Тынис. Он все-рвез занят поиском правильной одежды. Подолгу роется Тынис в двух старых сундуках. Но то, что находит он, либо не подходит, либо этого недостаточно для полноты костюма. И тогда Тынис созванивается со знакомыми, выспрашивает, разыскивает, подбирает. Ему надо, чтобы все было точно, по вековым правилам. К его удивлению, и Мэрю оказывается под стать ему, и она дотошна и настойчива. Усугубляется положение тем, что Тынис с севера («Я от Харьюмаа», — говорит он, гордо подбоченясь), Мэрю же южанка. Приехавшие не короткое время Артур и Юхан с любопытством и веселым азартом наблюдают за перепалкой стариков. Мэрю настаивает на южной одежде.

— Ваши женщины на шведок похожи, — язвительно заявляет она. — Напрялят поверх рубахи кйсед и довольны. Еще и вышивку понизу пустят. Шведки — ни дать ни взять.

— Никогда северный мужчина не дойдет до такого срама, чтобы короткие брюки носить, — парирует Тынис. — Это у ваших штаны до колена, словно материи им не хватило.

Потом каждый отходит в свой угол и продолжает готовить свой костюм. Наконец собрав костюмы из разрозненных частей, старики надевают их и становятся перед зеркалом. Они стоят, взявшись за руки, как в день своей свадьбы, и не могут сдержать довольных улыбок.

— Как с картинки сошли, — еле слышно говорит Мэрю. Тынис молчит и только ласково сжимает руку жены. Кажется, они забывают о той, ради которой все затевается. Но Кая сама напоминает о себе. Она заявляет, что не станет надевать ни северного, ни южного костюма.

— И дед мой, и отец родились на острове. Значит, и я с острова. Вот и одежда у меня будет островная.

Только Юхан и Артур не участвуют в этих спорах и хлопотах. На свадьбе они появляются в современных костюмах. Впрочем, и некоторые гости поступили так же. А Тынис в день свадьбы удивляет всех снова: он приводит лошадь, запряженную в повозку. И лошадь, и повозка в праздничном убранстве. Тынис сам правит.

Когда свадьба, набрав обороты, уже катится сама собой, когда гости разбиваются на группы и кто-то без усталости танцует, кто-то втихаря попивает, кто-то просто сидит в сторонке и наблюдает за общим весельем, из Тыниса словно уходят силы. Он садится на стул в переносной беседке, пытается улыбаться, но на душе у старого Парийыге

глухая пустота. Словно враз обрывает он то, что прежде держало его. Вот катится свадьба сама собой, и жизнь будет катиться так же, когда его, хромого Тыниса Парийыге, не будет на этой земле. А что вспомнить ему, Тынису Парийыге? Не каменного Зубра ведь.

Тынис замечает такого же одинокого наблюдателя, как он сам. Он узнает паренька. Несколько минут назад тот сновал туда-сюда, бойко болтал со всеми по-эстонски, но старого Тыниса не проведешь. «Парень не эстонец, — думает Тынис. — Не о нем ли говорила Кая, что он дружка жениха?» Он подсаживается к пареньку, предлагает закурить и достает специально припасенную для таких случаев внезапного знакомства пачку сигарет. Паренек вежливо берет сигарету, благодарит, но не закуривает. Тынис перебрасывается с ним несколькими эстонскими фразами, а затем спрашивает в лоб:

— Русский?

Паренек кивает. Тогда Тынис представляется по-русски:

— Я Тынис Парийыге, прадед Каи.

— Я знаю, — говорит парень, — Георг мне говорил. Я Сергей. Сергей Романов.

— Романов? — Тынис продолжает говорить по-русски. — Правда?

Внезапно он встает и решительно уходит. Сергей не трогается с места. Вскоре Тынис показывается, машет издаലെка рукой. Он идет, попыхивая трубкой. Ясно, что доволен Тынис: парень-то настоящий, не обиделся на него, не расценил внезапный уход Тыниса неверно, не надулся по-глупому. Снова усаживается Тынис рядом с Сергеем, лезет за пазуху и достает тряпицу. Потом молча и бережно разворачивает ее. Сергей не поднимает на старика глаз, он смотрит на его руки. Сергей видит заскорузлую ладонь, знакомую с веслами и рыболовной снастью, а на ладони — колодку с георгиевской лентой и солдатский Георгиевский крест.

— Моего отца, — слышит Сергей над собой.

Тогда Сергей медленно поднимает на Тыниса взгляд. Во рту у старика трубка. Он выпускает клуб дыма, глаза старика увлажняются. Наверное, новый табак едкий, непривычный, говорит себе старый Тынис Парийыге и отворачивается. Не хватало еще, чтобы этот русский паренек увидел влагу от дыма в его глазах. Бог знает, что подумать может.

ПОРТРЕТ РУСАЛКИ

1

Неумолимая сила гнала в дорогу. Уехать! Уехать от холстов, от выставок, от неизбежных тусовок и интервью мало смыслящим в искусстве, но нахватившимся сведений из Интернета журналисткам. В дорогу! И чем дальше уехать, тем лучше. Лобанов развернул карту области на севере. От городка на берегу реки уходила дорога, но внезапно обрывалась. И в этом месте на карте значилось: «Деревни». И даже названий их нет. Вот туда — где нет Интернета, где, наверное, и мобильник работать не будет. Решено!

Маршрут Лобанов определил, но момент, когда он побросает в багажник только самое необходимое, все время откладывал. Последний толчок оказался неожиданным и даже невероятным: Лобанов вступился за цыганку.

Он проводил в аэропорту друга и тогда же обратил внимание на цыганку. Она стояла в стороне и не пыталась приставать к пассажирам, ей словно не было ни до кого и ни до чего дела. Одновременно с Лобановым она прошла в зал ожидания. Почему-то он не спешил уехать, а задержался в зале, опустился в пластиковое кресло и задумался.

Внезапный шум заставил его обернуться. Несколько женщин, крича и размахивая руками, обступили цыганку. А та вела себя странно. В подобной ситуации ее соплемен-

ницы давно бы сами перешли в атаку, да так, чтобы все бежали от них прочь. Эта же слабо огрызалась и вяло отмахивалась. Похоже, она была больна, сильно простужена: часто кашляла. Подошел полицейский. Женщины продолжали кричать. Лобанов прислушался: женщины обвиняли ее в чем-то, что произошло минут десять назад. Они готовы были взять в оборот и полицейского. Лобанов резко поднялся. Никогда прежде он не вмешивался в подобные выяснения отношений, всегда старался уйти, исчезнуть, скрыться и убеждал себя: «Себе дороже». А тут подошел к галдевшим и обратился к полицейскому:

— Лейтенант, я не знаю, в чем ее обвиняют, но свидетельствую: ее в зале ее было. Она подошла только что, вместе со мной. От секции отлета.

Лейтенант со страдальческим выражением лица переводил взгляд с Лобанова на цыганку, с нее — на женщин. И опять произошло, казалось бы, невероятное: из женщин словно выпустили воздух. Они как-то обмякли, стали собирать свои сумки и баулы и расходились, бормоча вполголоса:

— Подумаешь, защитничек нашелся... Все одна шайка-лейка. Не найдешь нигде правды.

Махнув рукой, ушел и лейтенант. Цыганка устало опустилась в кресло. Лобанов мог хорошо ее разглядеть: на вид не старше сорока, все еще стройна и даже красива.

— Спасибо, барин, — тихо поблагодарила она. — Сил не было спорить с ними.

Лобанов опустился рядом.

— Болееешь? — сочувственно спросил он. — Купила бы лекарство. Похоже, у тебя температура.

— Ай ладно, дома по-цыгански лечиться буду.

— Как это?

— А зачем тебе наши секреты знать?.. Послушай, а что это ты за цыганку заступилась? Вы так не поступаете. Сам, что ли, цыган? Или зазноба была цыганка? А? — спросила она немного веселее.

— Нет, я не цыган. И зазнобы у меня не было. Несправедливость не люблю. И с детства ненавижу, когда стайей одного травят.

— Понятно. Ну, прощай.

Она поднялась, оправила красиво облегающую бедра юбку, сделала шаг, но тут же обернулась:

— Пстой! Дай руку.

Лобанов протянул ладонь.

— Не эту! Другую.

Лобанов подчинился. Цыганка взяла его ладонь в руку. У нее были холодные пальцы. Лобанов невольно посмотрел ей в лицо: щеки ее пылали. «Явно у нее температура», — подумал он. Цыганка все это время смотрела в ладонь Лобанова. Потом, поднимая на него взгляд, сказала:

— Не ездил бы ты туда, красивый.

— Почему? — вырвалось у Лобанова.

— Не справишься. Струсишь. Ругать потом себя будешь.

— С чем не справлюсь?

Цыганка только отрицательно помотала головой и пошла к выходу из зала. Потом оглянулась и еще раз сказала:

— Не надо ехать.

Именно после этого предостережения Лобанов решил: ехать непременно.

Убеждая себя, что он хочет уехать от холстов, Лобанов лукавил. Он надеялся поработать в глуши, поработать всласть — без оглядок на что бы то ни было. Поэтому уложил в багажник этюдник и несколько холстов.

2

Какой это чарующий звук — шорох шин по асфальту хорошей, недавно отремонтированной трассы! Какое наслаждение сидеть в исправном автомобиле за послушным рулем! Лобанов видел перед собой уводящую вперед ленту дороги, умиротворяющий пейзаж по обе ее стороны и темное пятно на обочине. По мере приближения пятно разделилось надвое, и теперь стали видны человеческая фигура и прямоугольный предмет рядом. Он приблизился. Фигура оказалась женщиной, а предмет — полированной тумбочкой. Женщина неуверенно подняла руку. Лобанов остановился и открыл дверцу.

— Я уж не надеялась, что кто-то остановит, — сказала женщина. — Все мимо проезжают.

— А что такое?

— Да тумбочку вот купила. На попутке досюда довезла, а дальше шофер не повез. Говорит, ему сворачивать надо. Так и уехал.

— А далеко?

— По прямой минут десять.

— Что тут поделаешь? Придется помочь.

Лобанов вышел из машины, открыл багажник. Вдвоем с женщиной они дотащили до него покупку и попытались уложить ее внутрь.

— Эх, не пойдет! — досадливо крикнул Лобанов. Он достал из багажника этюдник, холсты, дорожную сумку, уложил все на заднее сиденье.

— Ну, взяли! — скомандовал он.

Тумбочка легко вошла в багажник, но крышку опустить не получалось.

— Надеюсь, гаишников здесь не встретим, — усмехнулся Лобанов. — Садитесь.

Женщина села рядом, и они покатали. По дороге она несколько раз обернулась на багаж Лобанова.

— Что это за ящик у вас странный — с ножками? — спросила она наконец.

— Этюдник. В нем краски, кисти. Я художник. Еду в глушь, надеюсь, поработать там получится.

— Надо же! — женщина с интересом посмотрела на Лобанова. — Впервые живого художника вижу.

— И как?

— Ничего вроде. Ни рогов, ни копыт нету, — пошутила она. — Ну, вот и приехали.

Они вылезли из машины, достали из багажника тумбочку. До дома казалось недалеко, но надо было взойти на небольшой холмик.

— Как же вы потащите ее? — спросил Лобанов.

— Трофим! Трофим! — закричала женщина. — Сейчас мужа позову. Трофим!

Никто не отзывался.

— Опять где-то глаза заливает, — вполголоса проговорила она.

— Ну что ж, попробуем дотащить. Подсобите-ка! На плечо мне, — сказал Лобанов, устраивая тумбочку на плече.

Однако полированная тумбочка все время норовила соскользнуть. Пришлось нести вдвоем. Они шли, стараясь держать шаг, и Лобанов украдкой поглядывал на свою недавнюю пассажирку. Еще там, на обочине, как только он увидел ее, его словно горячий волной обдало. Это было не столько восхищение мужчины женской красотой, сколько восхищение художника. У женщины была литературная, как успел для себя определить Лобанов, красота. «О таких русских красавицах, наверное, писал Некрасов», — подумал он.

Между тем они не только дотащили тумбочку до дома, но и внесли ее в сени. Потоптавшись там, вошли в комнату — и женщина резко остановилась.

— Тьфу! Черт бы тебя побрал! Дома сидишь? Чего не вышел, как я звала? — резко говорила она мужчине в обвисшей по бокам, выцветшей, когда-то синей майке. Мужчина пьяно улыбался. На губе подрагивала прилипшая потухшая сигарета.

— Аленушка приехала, — протянул мужчина. — А мы тут с Витьком отмечаем.

Тот, которого назвали Витьком, попытался привстать и поклониться, но сорвался и сел. А мужчина широким жестом указал на стол. На столе прямо на клеенке лежал нарезанный крупными кусками хлеб, стояли открытая банка рыбных консервов, бутылка водки. В воздухе висел чад от дешевого табака.

— Выйдем, — предложила женщина.

Во дворе она, поглядывая на дверь, спросила:

— Сколько я должна?

— Да ничего не надо, — искренне ответил Лобанов. — Я же по дороге вез, никуда специально не заезжал.

— Нет, так не пойдет. Я не привыкла в долгу оставаться. Сколько с меня?

— Да нет никого долга. Я же сказал: ничего не надо. А вас, значит, Аленой зовут?

— Ну, Аленой... Алена Тимофеевна.

— А я Денис. Денис Сергеевич.

Денис медлил. Он явно любовался Аленой: слегка полновата, но еще крепко сбитая, каштановые волосы, зеленые глаза, густые, почти сросшиеся брови, что, впрочем, не портило лица, а придавало ему легкую строгость и непрístupность. Алена перехватила его взгляд.

— Чего засмотрелся? Ишь какой! Так, что ли, хочешь, чтобы расплатилась? — спросила она. — Ну, пойдем в баню или в сарай на сено.

— Да что ты?! Муж ведь дома! — лучшего довода не придумал Лобанов.

— Муж? — Алена криво усмехнулась. — Да, мужем он называется, да не я его жена. Видел ты его жену? На столе стояла. Бутылкой зовут. На бутылке он женат. Ну, пошли, что ли?! Только быстрее. Нечего тянуть.

— Да будет тебе! Я ничего такого не думал. Не надо.

— Тогда скажи, что надо. В долгу ни за что не останусь.

Лобанов задумался и с улыбкой сказал:

— Если ты так настаиваешь, на обратном пути заеду и нарисую тебя.

— Это еще зачем? — Алена смутилась.

— Хороший портрет может получиться. Ты красивая. Необычной красотой красивая.

— Скажешь тоже... Поезжай уж лучше.

Лобанов пошел к машине и услышал за спиной:

— А то и правда приезжай. Приезжай, коли обещал. Поглядим, приедешь или нет.

3

Обратный путь всегда короче. Лобанов ехал легко. В багажнике несколько удачных этюдов, лишь один холст остался нетронутым. Легко ехал Лобанов. На душе светло и спокойно, перед ним — ясная летняя даль. Впереди у развилки дорог он увидел тумбу с обрывками старых плакатов, очевидно предвыборных. «Странно, — подумал Лобанов, — вроде бы не было этой тумбы. Может, не заметил». Он ехал и бормотал: «Тумба, тумба, тумбочка». И вдруг вспомнил! Все сразу: женщину у обочины с тумбочкой, ее крепкую фигуру, зеленые глаза и бесстыдное предложение. Как ее? Алена? Только об алкоголике муже не подумал он.

Лобанов резко затормозил. Он сидел, глядя на дорогу, а двигатель на холостом ходу отстукивал ритм: «Куда? Куда?» И правда, куда? Прямо домой? Или налево, к ней, к Алене? Он осознал, что за все это время, когда он упоенно работал, бродил по окрестностям, наслаждался уединением и тишиной, он почти не вспоминал об Алене, об их странном знакомстве. Изредка смутно проступали ее черты, он, стараясь уловить понравившийся, но ускользавший образ, пытался набросать портрет. Образ уплывал и растворялся. Лобанов с облегчением оставил затею. И образ подзабылся.

«Куда? Куда?» — стучал мотор «Куда?» — решал Лобанов. Он медленно тронулся, проехал несколько метров, развилка осталась позади. Вдруг он резко развернулся, поехал назад и свернул у развилки направо. Он ехал на предельной скорости, словно опасался, что передумает, вернется на трассу. Вот он, ее дом показался, вон пригорок. Однако как затащили они эту тумбочку? Не доезжая до калитки, Лобанов заглушил двигатель. Во дворе тихо, никаких звуков не доносится и из дома. Он приподнялся на цыпочки, заглянул в высоко посаженное окно.

— Приехал-таки, художник? Смотри-ка, сдержал слово, — раздалось за его спиной.

От неожиданности он отшатнулся и едва не ударился спиной о стену дома. Алена смотрела приветливо. Но как она изменилась! Лобанову показалось, что ее бледное, с ненакрашенными губами лицо стало тоньше. Голову Алены опоясывала черная, сложенная широкой полосой косынка, на самой было темно-синее платье.

— Ну, что глядишь? — устало и обреченно сказала она. — Вдова я, вдова. Похоронила Трофимушку. Как ты уехал, он на следующий день и помер. Весь тот день с другом пил, да, видно, мало показалось. Вот Витек тот и притащил бутылку с какой-то гадостью. Оба от нее и угорели. Доктор сказал, что технический спирт пили... Ладно, проходи, отдохнешь с дороги.

В доме Алена усадила Лобанова за стол, поставила перед ним тарелку с отварной холодной свиной, миску с картошкой.

— Теплая еще картошка, поешь, — предложила она.

Потом отошла к шкафу и вернулась, держа в руках бутылку водки и стопку.

— Помянешь Трофима? Не бойся, водка хорошая, магазинная.

— Давай, — кивнул Лобанов, решив, что небольшое количество алкоголя скоро выветрится, да и на инспектора ГИБДД здесь вряд ли налетит.

Алена налила стопку, Лобанов молча выпил. Она налила еще.

— Ну и я помяну, — сказала она и выпила из той же стопки.

Лобанов молча ел, Алена, подперев ладонью щеку, смотрела на него.

— Хорошо ешь. Молодец. Не люблю я, когда мужики кочевряжатся. Выпьешь еще? Лобанов поблагодарил, но от водки отказался.

— Ну, как знаешь. И я не стану.

Она закупорила бутылку и поставила ее обратно в шкаф.

— Ешь ты хорошо, — повторила она, — а как работаешь? Тоже хорошо?

Лобанов откинулся на спинку стула. Что происходило с ним?! Ему вдруг захотелось рассказать этой малознакомой женщине, как он работал на этюдах, как пытался набросать ее портрет. Он верил, что она поймет.

— Хочешь, покажу, что я наработал за это время?

— А покажи! Впервые хоть живьем картины увижу.

Лобанов принес все написанные этюды, расставил их на стульях и на лавке. Алена внимательно смотрела, потом тихо, как самой себе, сказала:

— Надо же. Совсем не так, как если смотреть на картинке в книжке. По-другому здесь.

— А как по-другому?

— У тебя живее, что ли... Они как будто дышат... А меня нарисовать грозился. Не передумал еще? — с вызовом спросила она.

— Давай! Прямо сейчас. Садись. Я только холст принесу.

Когда Лобанов вернулся с холстом, Алена уже сидела вполборота к нему. Потом вдруг дернулась:

— Ой, что это я в черной косынке...

Она стянула траурную повязку, волосы слегка растрепались. Алена принялась их собирать.

— Не надо! — бросился к ней Лобанов и даже схватил за руку. — Лучше совсем распусти.

Он смотрел на Алену, не убирая руки. Алена осторожно высвободилась.

— Так, что ли? — смущенно улыбаясь, спросила она, распустила волосы и слегка потрясла головой. Волосы рассыпались по плечам. Лобанов изучающе поглядывал на Алену и выдавливал на палитру краску.

— Ой, погоди! — вскочила вдруг Алена. — Я сейчас. Мигом!

Она выскочила во вторую комнату и вскоре вернулась. Темно-синее траурное платье она сменила на другое — облегающее фигуру, словно затканное узором из крупных зеленых листьев и белых цветов.

— Красивое? — с подростковой нерешительностью спросила она. — Разок только и надеть могла. Трофим ругался. Из-за этого вот.

Она повернулась лицом к стене, показав открытую до пояса спину.

— Красивое. И ты в нем красивая. Садись. Время идет. Надо успеть, пока светло.

Лобанов не стал тратить время на подготовительный рисунок. Широкой кистью он проложил светлые места: лоб, щеки, подбородок. Нервно бегущая линия волос обрамила лицо. Волосы ложились на плечи и пропадали в тени. Работал Лобанов упорно, а Алена заметно устала. Стараясь делать это незаметно, она поводила затекшими плечами, попыталась размять шею.

— Потрепи, пожалуйста. Немного осталось, — попросил Лобанов. Алена терпеливо сидела.

Наконец он отступил от холста, вытирая кисти и всматриваясь в работу.

— Поглядеть-то можно? — Алена вытянула шею, будто хотела увидеть портрет со своего места.

— Посмотри. Нужно еще немного доработать детали, а так все готово.

Алена обошла этюдник с холстом, самого Лобанова, встала за его спиной и оттуда смотрела на готовую работу.

— Неужто я такая? — задумчиво спросила она.

С холста смотрела женщина, много вынесшая в жизни, но не утратившая своей женственности. Выхваченные широким солнечным лучом глаза изумрудно посверкивали.

— Неужто я такая? — повторила она.

— Такая. Ты на русалку похожа.

— Скажешь тоже, — Алена улыбнулась.

А Лобанов вдруг почувствовал усталость и опустошенность. Такое случалось с ним, когда удавалось поработать с полной отдачей. За окнами смеркалось.

— Поздно-то как, — с легким сожалением сказал он.

Алена понимающе кивнула.

— Послушай, не езжай ты никуда на ночь глядя. Я тебе в комнате постелю. Сама на сено пойду.

— Ой, нет! — по-детски загорелся Лобанов. — Давай наоборот. Ты оставайся в доме, а я на сено пойду. Никогда не спал на сене. Только в книгах читал.

- Смотри, намаешься с непривычки. Колется сено-то.
- Все равно. Давай меня туда.
- Ну, гляди. Пошли, устрою.

С первых же минут Лобанов пожалел, что не согласился на предложение Алены. Он не мог уснуть, ворочался. Сено действительно кололось, от его пряного аромата было душно. В отчаянии Лобанов готов был сползти отсюда, дойти до машины и, не прощавшись, уехать, сбежать, но тут скрипнула дверь, и снизу донеслось:

— Художник! Денис! Не спишь? Сползай сюда. Покажу, чего у себя в городе никогда не увидишь.

Лобанов послушно слез. Алена все в том же зеленом платье взяла его за руку:

— Пошли!

Они пробрались через огород, вышли из задней калитки и спустились к небольшой заводи на реке. Крупные листья кувшинки еще можно было различить в лунном свете, цветы уже спрятались под водой.

— Гляди туда, — прошептала Алена и указала рукой вдаль.

Там, ниже по течению, подрагивали и плыли по реке огоньки, мелькали в лунном свете мужские и женские тела, приглушенно доносились негромкие голоса.

— Что это? — восторженно выдохнул Лобанов.

— Сегодня же ночь на Ивана Купалу. Вот и резвится народ. Сегодня любить надо. Так говорят.

Алена вошла по колено в воду. Луна выхватила ее фигуру, открытую спину, платье, затканное зелеными листьями. Оно казалось продолжением листьев кувшинки на воде.

— Ты на русалку похожа, — снова сказал Лобанов.

— Заладил тоже. Русалки толстыми не бывают.

— А ты разве толстая? Нисколько.

— Толстая, толстая.

Алена посмотрела на реку, туда, где мелькали в лунном свете человеческие тела, откуда доносились приглушенные голоса, откуда разливалась чувственность.

— Искупаться, что ли? — почти прошептала Алена и вдруг стащила с себя платье. Под ним ничего не было. Лунный свет трепетал на ее действительно неплюском, но волнующем животе, на еще крепкой груди, на плечах. Лобанов не дал ей войти в воду. Не говоря ни слова, он подхватил Алену на руки и понес на берег.

— погоди. Не здесь. Сюда давай, — успела шепнуть Алена, соскочив с его рук и увлекая дальше в заросли.

От неведомых ей прежде ласк Алена вздрагивала, постанывала, обмякала, снова напрягалась. Наконец, застонав, она коротко вскрикнула и распласталась на спине, раскинув руки. Она долго не могла отдышаться, а когда отдышалась, сказала, глядя в небо:

— Где же ты раньше был, художник?

Она лежала на спине и говорила словно не Денису, а в небо. То и дело прорывалась сквозь ее слова затаенная горечь:

— Я и не знала, что у баб так бывает. Когда видела в кино, как девки стонут и кричат, думала, что специально так снимают, чтобы мужиков раззадорить. А оно вон как получается. Ведь у нас с Трофимом как бывало? Навалится он и дышит в лицо: водка, чеснок, табак — все в кучу. Я отвернусь, не дышу и только думаю: быстрее бы уж. Но он-то и быстро отваливался. И сразу храпеть начинал.

— Алена, а... — спросил было Лобанов, но Алена опередила его.

Она приподнялась на локте, заглянула в лицо Лобанову, говорила тихо, обжигая его дыханием:

— Про ребеночка спросить хочешь? Мог бы быть сыночек. Да побил меня Трофим по пьяни. Сильно побил. Я и выкинула. А в больнице лежала, так свекруха приходила, на коленях стояла, все молила, чтобы я сынка ее не погубила. Говорила: «Ну, посадят его, тебе легче будет?» Я и не погубила, заявление в милицию писать не стала, сказала, мол, сама упала. А как пришла домой, так он меня снова побить решил. За то, что дитя не уберегла. Но тут я спуску не дала. В больнице, как сказал доктор, что детей у меня никогда не будет, в меня словно прут железный вставили. Несгибаемая стала. Ничто меня сломить не могло. И ты не сломишь, хотя хорошо мне с тобой.

Алена замолчала. Теперь она снова лежала на спине, закинув руки за голову, глядя в небо и не смущаясь своей наготы.

— Вру я! — вдруг сказала она. — Ждала я тебя. Все гадала: приедешь, не приедешь? Приехал. И что теперь? Только ничего не говори сейчас. Пошли домой. Холодно.

Она натянула платье, и оба пошли к дому тем же путем, что добрались сюда. Уже у самого дома Лобанов вдруг вспомнил:

— Послушай, там же автомобиль мой почти у твоего забора. Наверняка видели, как я в дом входил. Злословить о тебе не станут?

— Как же без этого? Будут грызть. Да ты не расстраивайся. Ты еще только остановился, из машины не вылез, а разговоры, поди, уже пошли. В деревне это быстро. А сам-то женат или как?

— Холостяк я. Волк-одиночка.

— Вот оно что. Волк, говоришь? Ну-ну.

Он направился было к своему сеновалу, но Алена остановила его, потянула за руку:

— Пошли в дом. Я ведь что тебя к реке потянула? Знала, что лягу с тобой, но не хотела, чтобы в той постели, что с мужем лежала. А теперь все равно. Пошли.

Дома она откинула на кровати широкое одеяло, юркнула под него, потянула к себе Дениса, прошептав:

— Холодно мне. Согрей меня.

4

Солнечный свет, пробившись сквозь щели в ставнях, разбудил Лобанова. Алены рядом не было. Он оделся и вышел на кухню. Алена хлопотала у печи. На ней снова было темно-синее платье, траурная повязка охватывала голову.

— Садись завтракать. Подкрепись на дорогу. Ехать тебе пора, — Алена говорила, а сама испытующе смотрела на Лобанова. Тот ничего не ответил. Позавтракав, он поблагодарил Алену, но из-за стола не встал.

— Что замолчал-то? Скажи что-нибудь.

— Хочешь, я останусь? — не поднимая на Алену глаз, спросил Лобанов.

— Разрешения спрашиваешь? Как мальчик у мамы? Не хочу. Сказал бы ты: «Алена, остаюсь я», с радостью оставила бы. Или позвал бы: «Поехали, Алена» — в том самом одном зеленом платье уехала бы, все бы бросила. А ты правильным быть хочешь, прогадать боишься. Думала, вынул ты из меня железный прут, ан нет, сидит он. Да и то сказать, что я тебе? По ночам, может, и хорошо у нас будет, а что днем? Так что поезжай.

— Алена...

— Молчи! Молчи! Не оправдывайся! Не убивай то хорошее, что осталось!

Лобанов молча собирался.

— Картину свою заberi, — вдруг сказала Алена.

— Это твой портрет. Оставь себе.

— Не возьму. А то буду смотреть на него, вспоминать, чего не надо. Злиться стану. А в злости и порвать могу. Тебе икаться будет. Забирай. Я ведь с тобой полностью расплатилась? Хотя постой.

Она подошла к Лобанову, обхватила его шею руками, крепко прижалась. Поцелуй был долгим и таким же свежим, как на реке.

— А теперь ступай. Провожать не буду. До машины, чай, сам доберешься?

— Алена,.. — опять начал было Лобанов, но Алена оборвала его:

— Да не говори же ничего! Уходи!

Она убежала во вторую комнату. Потоптавшись, Лобанов повесил на плечо этюдник, взял в одну руку сумку, в другую — портрет с еще не высохшими красками. Как завелся мотор, как отъехал автомобиль, Алена в дальней комнате слышала плохо.

5

На вернисаже критики и журналисты роились перед узким вертикальным полотном. Женщина в платье с открытой спиной, стоя по колено в воде, обернулась, каштановы волосы рассыпались по плечам, в печальных глазах сверкали изумрудные блики. Платье, словно затканное зелеными листьями, казалось продолжением водной растительности. На табличке внизу значилось: «Портрет русалки. Холст, масло».

Ни на вернисаже, ни на открытии выставки автор не появился.